

С.А. Голубков
(Самара)

КРИЗИСЫ ДВАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ В ЗЕРКАЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Аннотация: в статье идет речь об отражении в литературе целой совокупности кризисов, характерных для двадцатого столетия (политический, экономический, демографический, культурный, эстетический и т.д.). Эти взаимосвязанные кризисы века коснулись как бытовых (макроисторических) основ жизни общества, так и бытовой повседневности.

Ключевые слова: кризис, символические ценности, микроистория, повседневность, сиротство, приватный мир.

Название конференции заставляет нас, прежде всего, ответить на вопрос: что такое, собственно, кризис? Каковы его характерные признаки? И почему мы весь минувший век именуем не иначе, как кризисным?

В справочной литературе (энциклопедиях, словарях) мы найдем немало определений, но все они будут сводиться практически к одному. Кризис трактуется как «переворот», стадия «перехода» из одного состояния в некое новое состояние, как радикальный «перелом», знаменующий очевидный «раскол» общества, проводящий временные «границы» между разными периодами, эпохами. Кризис чреват тотальной сменой всей существующей системы ценностей, решительным изменением вектора последующего развития. Констатируя имеющийся в обществе кризис, с немалой тревогой говорят о смутно мерцающих на горизонте новых перспективах. Кризис может допускать двоякое толкование. Его можно понимать и как своеобразную «черную дыру», в которую неотвратимо проваливается общество, и как позитивный импульс преобразования, нового творческого развития.

Конечно, различные кризисы сотрясали Россию и в прошлые столетия. Но двадцатый век справедливо заслуживает своего определения как «кризисный» из-за удивительной сконцентрированности всех возможных видов кризиса. Минувшее столетие вобрало, действительно, многое. Социально-политический кризис привел к радикальной смене системы власти, к появлению новой социальной стратификации. Экономический кризис обусловил возникновение новой формы собственности, нового хозяйственного уклада. Технологический кризис породил программу индустриали-

зации для преодоления острой недостаточности старых технических возможностей, тормозящих решение масштабных экономических задач. Демографический кризис, вытекавший из социально-экономической ситуации, подтолкнул страну с преимущественно сельским населением к ускорению урбанизации. Разноплановый общекультурный кризис привел при своем разрешении к двум противоположным полюсам: с одной стороны, к успешной ликвидации безграмотности и повышению уровня образованности широких слоев общества, с другой, увы, к усреднению эстетических вкусов. А художественный кризис, в частности, литературный, поставил писателей перед проблемой поиска нового языка, обновления жанровой системы, формирования новой концепции личности, приучал читателя к новым формам бытования литературного текста.

В начале XX века философ и публицист Н.А. Бердяев написал несколько знаковых работ, посвященных различным аспектам кризиса культуры («Духовный кризис интеллигенции», 1910; «Варварство и упадничество», 1918; «Кризис искусства», 1918; «Новое средневековье», 1924 и др.) [Бердяев 1994 – 1,2]. Он писал в статье «Конец Ренессанса и кризис гуманизма. Разложение человеческого образа»: «Начинает обнаруживаться величайший кризис творчества и глубочайший кризис культуры, который в течение последних десятилетий обнаруживает все более и более умножающиеся симптомы. Этот кризис творчества характеризуется дерзновенной жадой творчества, быть может, до сих пор небывалой. И вместе с тем творческим бессилием, творческой немощью и завистью к более целостным эпохам в истории человеческой культуры» [Бердяев 1994 – 1: 399].

Литература в силу своей природы порождает символические ценности. Между культурами, между поколениями, между творческими индивидуальностями происходит постоянный плодотворный обмен такими символическими ценностями. Это и составляет, собственно, суть историко-культурного процесса.

Практически любая оценка социокультурного состояния нашей страны часто начинается с признания или констатации «русского культурного своеобразия», о котором говорится уже не одно столетие. Как констатируют исследователи, особенностью русского культурного архетипа является потребность в центральном событии.

Перед лицом общей беды, некоей ситуации исторического испытания в обществе начинают активно действовать центростреми-

тельные силы (собирающие, объединяющие, сплачивающие). Владимир Короленко в 1917 году размышлял об ошибке, в которую впали революционеры. «Сказав важное слово в пользу человечества, многие из нас решили, что этим сделано все, что слово уже стало плотью, что единое человечество уже стало действующей силой и что оно освобождает нас от трудной работы для собственной родины и свободы. Мы вообразили, что слова достаточно и что нам остается только войти в храм будущего человечества, где нас ждет счастливое будущее без труда и усилий. И народ поверил благой вести, тем более, что она освобождала его от трудного подвига и интересы отечества заменила непосредственными классовыми интересами. Страшная, роковая ошибка, та самая, в которую так часто впадало прежнее патриотическое самохвальство. Мы вообразили, что стали уже во главе движения всего передового человечества одним тем, что отрешились от собственного отечества» [Короленко 2002].

Революция и последовавшая за ней гражданская война – это время, когда в привычный бытовой уклад вторглось внебытовое, то, что можно назвать надличностным, поступью Истории, сломом времен. Изменились не только сама «формула власти», не только государственные институты, экономические отношения, социальная иерархия. Изменилась и сама повседневность. В традиционной «социальной истории» доминирующим объектом изучения были макровременные категории, большие системные регулярности, так называемые «исторические закономерности». Все единичное, случайное, локальное чаще всего отбрасывалось как несущественное. Формула Маркса «история – это история борьбы классов» была центральным стартовым постулатом при любом аналитическом построении. Однако в XX века такая авторитетная историографическая школа, как «Новая историческая наука» Франции («Школа Анналов») в центр исследовательского внимания поместила изучение ментальностей населения [Гуревич 2014], [Анналы... 2002]. Появились и сторонники так называемых «микроисторий». Историю делают конкретные люди. Каждый человек, какое бы он место в социальной иерархии ни занимал (порой и незначительное), является тоже соучастником исторического процесса. Микроистория – это биография отдельной личности, история отдельной семьи, небольшого дружеского сообщества или иных разновидностей микросоциумов. В их жизни, как в капле воды, отражается многомерная и противоречивая эпоха больших потрясений.

Войны и революции, к сожалению, сводят многомерное бытие к простенькой двуцветной схеме: белые / красные; свои / чужие; друг / враг. Это пребывание в системе элементарных бинарных оппозиций заставляет человека забыть о многообразии жизни, о цветущей сложности социокультурных процессов.

Налицо примитивизация выбора: «кто не с нами, тот против нас». С драматическими изменениями времени непоправимо меняется и человек. Люди понемногу теряют самих себя, подчиняясь безумию времени. И. Бунин с горечью отмечал в «Окаянных днях»: «К. говорит, что у них вчера опять был Р. Сидел четыре часа и все время бессмысленно читал чью-то валявшуюся на столе книжку о магнитных волнах, потом пил чай и съел весь хлеб, который им выдали. Он по натуре кроткий, тихий и уж совсем не нахальный, а теперь приходит и сидит без всякой совести, поедает весь хлеб с полным невниманием к хозяевам. Быстро падает человек!» [Бунин 1935: 6].

А происходит это из-за всеобщего небрежения отдельным человеком. Еще один пример – письмо Ф.К. Сологуба властям (1919 г.): «Доведенный условиями переживаемого момента и невыносимую современностью до последней степени болезненности и бедственности, убедительно прошу Совет Народных Комиссаров дать мне и жене моей, писательнице Анастасии Николаевне Чеботаревской (Сологуб), разрешение при первой же возможности выехать за границу для лечения. Два года мы выжидали той или иной возможности работать в родной стране, которой я послужил работою народным учителем в течение 25 лет и написанием свыше 30 томов сочинений, где самый ярый противник мой не найдет ни одной строки против свободы или народа. В течение последних лет я подвергся ряду грубых, незаслуженных и оскорбительных притеснений, как например: выселение как из городской квартиры, так и с дачи, арендуемой мною под Костромой, где я и лето проводил за работою; лишение меня 65-рублевой учительской пенсии; конфискование моих трудовых взносов по страховке на дожитие и т.п., хотя мой возраст и положение дают мне право, даже в условиях необычайных, на работу в моей области и на человеческое существование. <...> Если тяжело чувствовать себя лишним в чужой стороне, то во много раз тягостнее человеку, для которого жизнь была и остается одним сплошным трудовым днем, чувствовать себя лишним у себя дома, в стране, милее которой для него нет ничего в целом мире» [Сологуб 1919].

Время революционного катаклизма характеризуется резко выраженным креном в сторону коллективистского «мы». В этом были

и свои плюсы, и свои минусы. К плюсам отнесем обретение населением своего голоса. Страна стала воистину народным дискуссионным клубом. Площади, вагоны-теплушки, избы-читальни — все превратилось в пространство спора. Митинг стал школой формулирования мысли. Народ шагнул от смутных предчувствий, от неясного мироощущения — к более четкому миропониманию. Шел поиск вербальных средств выражения этого нового качества сознания, велась работа по «выделке» дефиниций.

Однако одновременно безусловными минусами такого торжества вдруг заговорившей толпы были редукция личностного, возврат к племенному, к архаике. «Вождизм» становился оборотной стороной подобного роевого сознания (дихотомия стада и пастуха). Небрежение отдельным человеком во имя сохранения массы, приводило к тому, что безнаказанное насилие становилось чертой повседневности, убийство — обычным делом. Сложность исторического момента выразил Евгений Замятин в статье «Завтра»: «Вчера был царь и были рабы, сегодня — нет царя, но остались рабы, завтра будут только цари. Мы идем во имя завтрашнего свободного человека — царя. Мы пережили эпоху подавления масс; мы переживаем эпоху подавления личности во имя масс; завтра — принесет освобождение личности во имя человека. Война империалистическая и война гражданская — обратили человека в материал для войны, в номер, в цифру. Человек забыт — ради субботы: мы хотим напомнить другое — суббота для человека» [Замятин 1988: 407-408]. Правда, завтрашний день, о котором с надеждой пишет Замятин, оказался, к сожалению, не совсем таким, каким представлялся писателю.

Изучение повседневности во всех ее деталях позволяет увидеть историческую эпоху не чрез призму какой-либо упрощающей схемы (какой бы красивой и логичной такая концепция ни казалась!), а рассмотреть эту эпоху во всей ее стереоскопической объемности — и с пиками идеального подвижничества и героизма, высокого служения идее, и с безднами нравственного падения и душевного оскудения.

Русская «парижанка» Нина Берберова в своей прозе начала 1940-х годов возвращается ко времени катастрофического слома исторического бытия, отразившегося и в облике драматически менявшейся бытовой повседневности. Примечателен в этом отношении ее рассказ «Плач» из сборника «Аккомпаниаторша». Уже немногословное начало рассказа демонстрирует, как всеильное Время, избилующее социальными потрясениями, бесцеремонно

вторгается в частную жизнь героев, радикально ее меняя. «Мою сестру звали Ариадной. Мне было девять лет в тот незабвенный, снежный, голодный год, когда она кончила школу и стала взрослой, и так как в этот же самый год умерла моя мать, — в одной из холодных, пустых клиник Петербурга, — то случилось так, что в два месяца изменилась вся наша жизнь и изменились мы сами» [Берберова 2011: 235].

Суровые надличностные обстоятельства меняют границы привычного домашнего мира («квартиру заселили чужими людьми» [Берберова 2011: 235], сестры с отцом остались втроем «в одной комнате») [Берберова 2011: 236]. Кричащее оскудение повседневного существования, холодного и голодного, выражается в такой детали: «Жизнь наша шла вокруг этой печи, где вечерами дрожало медленное, тяжелое тепло» [Берберова 2011: 236]. Железная печка-«буржуйка» становится осью мироздания. А вокруг была «случайная мебель» [Берберова 2011: 236]. Этот выделенный нами эпитет примечателен, ведь сестры чувствуют и свою собственную случайность в быстро несущемся потоке времени.

Слом исторического бытия привел в движение в те годы колоссальный маховик всеобщих изменений. Пришел в многовекторное движение и быт, такой прежде неповоротливый и косный. Проза 1920-х годов отобразила человека, отнюдь не стоящего на месте. Мы видим разнообразных персонажей юмористической прозы П. Романова, М. Зощенко, М. Булгакова, Е. Замятина, С. Заяицкого, беспрестанно куда-то едущих в поездах и трамваях, попадающих в скандальные бытовые ситуации в условиях испытания новой коммунальностью. Герои прозы И. Бабеля, М. Шолохова, Вс. Иванова эскадронным аллюром проносятся по степным пространствам, подчиняясь манящим «цветным ветрам» неслыханных перемен. Время уже не меряется привычной для былой усадьбы или деревни размеренной сменой времен года, в ход идут уже другие, более масштабные временные единицы (эры, эпохи, жизни). Так, героиня повести А.Н. Толстого «Гадюка» Ольга Вячеславовна Зотова «в свои двадцать два года начинала третью жизнь». А у писателей первой волны эмиграции отъезд в Париж, Прагу или Берлин знаменовал начало совершенно новой полосы жизни со многими неизвестными. Граница приобретала тут уже не только пространственный, но и временной смысл.

Литература этого времени фиксирует, как вдруг приходят в движение, включаются в калейдоскопически пестрый поток метаморфоз грандиозные пространства (империи, страны, губер-

нии, города). Несутся дома-«корабли» в рассказах Е.И. Замятина 1918-1920 гг. Снимаются «с якорей» целые губернии в поэме В. Маяковского «150 000 000», наполненной пространственными гиперболами. Подобные бытийно-широкие образы мы находим и в мемуарной лирике. Так, воспоминания писателей-эмигрантов тоже часто приобретают пространственный размах: «О родине каждый из нас вспоминая, / В тоскующем сердце унес / Кто Волгу, кто мирные склоны Валдая, / Кто заросли ялтинских роз...», — читаем в стихотворении Саши Черного «Весна на Крестовском» [Саша Черный 1991: 328].

Как известно, через всю русскую литературу устойчивым пунктиром проходит тема отверженных, людей, обделенных вниманием общества. Речь идет тут не о сиротстве в его буквальном, так сказать, «паспортном» смысле, а о сиротстве онтологическом, когда человек, независимо от возраста, пола, уровня образованности, вдруг ощущает леденящее, воистину вселенское одиночество, осознает свою маргинальность, выброшенность из общего потока жизни [Горичева 1991]. Таких героев немало у М. Горького. Ранний Маяковский с экспрессионистической заостренностью отобразил состояние страдающего индивидуума, стоящего посреди бурь и социальных потрясений: «Я одинок, как последний глаз / у идущего к слепым человека» [Маяковский 1969: 30]. Литературоведы писали о сиротстве у А. Платонова, о смысловой оппозиции *сиротство / родство*, проходящей сквозной линией через все его творчество. «Герои Платонова живут «благодаря одному рождению», их судьба — безвестность и сиротство. Отсюда столь частое у Платонова слово «скучно». Скучна даже природа, лишенная смысла» [Горичева 1991: 237]. Как разрешить конфликт отдельного человека и государства, ведь у каждого участника такого конфликта «своя» непреложная Правда. Делегирование полномочий от человека к государству и от государства к человеку с удручающей неизбежностью приводит к двум диаметрально противоположным полюсам: на одном абсолютная тирания, на другом абсолютная анархия. Извечные российские крайности: все или ничего!

Нередко оборотной стороной такого осознанного сиротства было хулиганство как парадоксальный способ его преодоления. Тут человек, травмированный нескладной жизнью, мог действовать по известному принципу: «клин клином вышибают». Можно смириться со случившимся, со свалившейся на голову маргинальностью, как с неизбежным несчастьем, но можно и бросить вызов оглохшему и равнодушному обществу, превратить рядовую ситуацию в скандал,

выстраивать модель своего поведения в координатах неслышанного эпатажа. Хулиган — это всегда внесистемный элемент, действующий в рамках своей логики, а не в соответствии с общепринятыми нормами. Он внеположен по отношению к устойчивой системе ценностей (политических, социально-нравственных, религиозных, эстетических — каких угодно). Его позиция — акт своеобразной проверки такой системы на целостность, на прочность. Его поведение — вызов [Поварницына 2009]. В эпоху революционных потрясений этот прежний внесистемный элемент становится уже элементом новой системы, он осознает, что теперь «право имеет».

Писатели переломных эпох достаточно много писали о смерти. И это тоже, конечно, отнюдь неслучайно. Так часто в XX веке отдельные люди, целые социальные слои, профессиональные сообщества, да что там, — народы целых стран оказывались у гибельной черты! Смерть присутствовала во всех своих страшных ипостасях — от внезапной кончины отдельного человека до катастрофического крушения огромных империй. Потому вполне объяснимы апокалиптические ожидания и раздумья о вероятной смерти. Она могла настичь в любой день и час. Исторические катаклизмы рождали настоящий конвейер смертей. И не случайно в подборке иронических афоризмов известного сатирика-эмигранта Дон-Аминадо мы найдем немало таких минимальных текстов, выполненных в соответствии с контрастной поэтикой «черного юмора»: «Народное творчество выражается не только в пословицах, но также и в виселицах»; «Во время гражданской войны история сводится к нулю, а география — к подворотне»; «Невеселое дело — вешать. А уж висеть и совсем скучно»; «Верх невезения — пережить октябрьскую революцию и умереть от солнечного удара» [Дон-Аминадо 1994: 465-468]. Увы, смерть, в самом деле, порой принимала повседневное обличье — в России бывали периоды, когда неубранные трупы людей и лошадей становились трагической деталью будничного городского пейзажа. Этими трагическими обстоятельствами переломной эпохи, наверное, было продиктовано и появление в творчестве Сигизмунда Кржижановского примечательного повествовательного цикла «Чем люди мертвы». Герой открывающей цикл новеллы «Чудак» мрачно размышляет: «Думают — трупы на кладбищах. Вздор. В каждого и в того, кого хоронят, и в того, кто хоронит, — вдет труп; и я не понимаю, как они там у их могильных ям не перепутают — себя и их. Труп зреет в человеке исподволь...» [Кржижановский 2001: 436]. Эти слова отнюдь не воспринимаются избыточным преувеличением, если учесть весь

контекст исторического времени. Перед бездной небытия вдруг пронзительно открывается последний и истинный смысл истекшей жизни. Небытие постоянно о себе напоминает. Мертвые вожди, властители, тираны не отпускают живых, внедряясь в сознание и тем самым самонадеянно утверждая, что они и теперь «живее всех живых».

Кризисы порождали поиски вариантов выхода. Конечно, самыми простыми были насильственные способы преодоления кризиса, отличавшиеся высоким уровнем жестокости. Эти варианты выхода могли быть утопичными — технократичными, социально-распределительными, религиозными. Утопии приводили к производству их иронических опровержений — антиутопий. Патетическое неизбежно сменялось ироническим его обесцениванием. Такой процесс мог быть бесконечным.

На рубеже XX–XXI вв. культура пережила еще один кризис — утрату прежнего литературоцентризма [Кризис... 2016]. Исследователь И. Кондаков предложил своеобразную типологию четырех литературных кризисов, сложившихся в XIX–XX веках: 1) в 19 веке период, когда критика считалась более высокой деятельностью по отношению к литературе; 2) в эпоху Серебряного века тяготение литературы к внесловесным формам искусства; 3) в советский период — узурпация литературы идеологией, подчинение пропагандистским задачам; 4) на рубеже XX–XXI вв. — растворение литературы в медиапространстве [Турышева 2016, с. 12].

Наверное, очевидной и, возможно, очень ярко выраженной и разнообразной по формам проявления кризисностью будет отличаться и век наступивший, век двадцать первый. Остается только угадывать и строить прогнозы, какими будут вероятные кризисы будущего.

Список литературы

1. *Анналы на рубеже веков: антология*. М.: Согласие — XXI век, 2002. 284 с.
2. Берберова Н.Н. *Акомпаниаторша: Рассказы в изгнании*. М.: АСТ: Астрель, 2011. 411 с.
3. Бердяев Н.А. *Философия творчества, культуры и искусства: В 2-х т. Т.1.* — М.: Искусство, 1994. — 542 с.; *Т.2.* — М.: Искусство, 1994. — 510 с. (Серия «Русские философы XX века»).
4. Бунин И.А. *Окаянные дни*. М.: Сов. писатель, 1990 (репринтное издание: воспроизводится издание 1935 года). 176 с.
5. Горичева Т. *Сиротство в русской культуре // Вестник новой литературы*. Л., 1991. № 3.

6. Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М.: Центр гуманитарных инициатив, Университетская книга, 2014. 434 с.
7. Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь: Стихотворения. Политический памфлет. Проза. Воспоминания. М.: ТЕРРА, 1994. 768 с.
8. Замятин Е.И. Сочинения. М.: Книга, 1988. 575 с.
9. Короленко В.Г. «Была бы жива Россия!»: Неизвестная публицистика. 1917-1921 гг. М.: Аграф, 2002.
10. Кризис литературоцентризма. Утрата идентичности vs новые возможности: монография / отв. ред. Н.В.Ковтун. 3-е изд., стер. М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. 576 с.
11. Кржижановский С. Клуб убийц букв. Собр. сочинений. Т.2. СПб.: Симпозиум, 2001. 701 с.
12. Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы. Пьесы. М.: Худож. лит., 1969. 736 с.
13. Поварницына Н.С. Свобода творчества и феномен хулиганства в русской лирике Серебряного века (В. Брюсов, В. Каменский, С. Есенин): Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. филол. наук. Ижевск, 2009. 22 с.
14. Саша Черный. Стихотворения. М.: Худож. лит., 1991. 414 с.
15. Сологуб 1919. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.fso-logub.ru/letter/v-sovet-narodnykh-komissarov.html> (дата обращения 10.09.2017)
16. Турышева О. Опасности литературоцентризма: культ литературы глазами литературы // Кризис литературоцентризма. Утрата идентичности vs новые возможности: монография. М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. С. 11-26.

S.A. Golubkov
(Samara)

THE CRISES OF THE TWENTIETH CENTURY IN THE MIRROR OF RUSSIAN LITERATURE

Abstract: the article deals with the reflection in literature of the whole set of crises, characteristic for the twentieth century (political, economic, demographic, cultural, aesthetic, etc.). These interrelated crises of the century referred to as being (macro-historical) foundations of society and everyday routine.

Keywords: crisis, symbolical values, the micro, the everyday, the orphanage, the boundaries of the private world, the test community.